

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 40

1987



Юрий КАЗАКОВ

**ВО СНЕ ТЫ
ГОРЬКО ПЛАКАЛ**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

Юрий КАЗАКОВ

ВО СНЕ ТЫ
ГОРЬКО ПЛАКАЛ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Юрий КАЗАКОВ

Юрий Павлович Казаков (1927—1982) — выдающийся советский новеллист. Родился в Москве. Окончил в 1958 году Литературный институт имени А. М. Горького. Тогда же вышел первый сборник его рассказов. На 60-е годы приходится расцвет творчества этого великолепного мастера, продолжившего лучшие традиции русского классического рассказа. Многие создания Казакова стали хрестоматийными. Доброта, сострадание и любовь, мужественное отношение к жизни, боль за неосуществленное — вот главное, чем всегда будут привлекать книги и герои Юрия Казакова.

ТРАЛИ-ВАЛИ

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сених кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоминный вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лен?, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розове-

ющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристаёт возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали.

Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеления коленки и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съезжившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он. — Стой, убью!

И, топчась сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валяются они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распущенная, потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный в накинутом полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, — упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну, ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилося сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в снях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! — жалуется он, выпив. — Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистыва-

ет. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

— Егор-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

— Его-орка, тебе велели иди-ить...

— Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.

— Дядя... а-аяся и дядя ...е-е-е-е...

— А для чего они сами не пришли-и?

— Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, беспрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор... иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курево... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так.... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится груст-

ным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубечком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погода показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немила ему росистые луга и тихий плес, немила легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая наособицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами вполнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютom сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор?» И смутно и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно принимает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви

и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый — через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотках. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий. — Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь, — с робкой надеждой говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает.

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезают из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недолго. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, — у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хакает, делает паузу и понижает голос, — но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидую в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов, — быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедem? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— «ЛМ-1», — отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он. — У Славки — болиндер, это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю болиндер против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспорил. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой, — он секунду думает, стекленея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор. — А кто может склать? Ты можешь? Склади! Глина, кирпич есть, материал, словом. Склади, полтора ста сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. — Ну? Склади!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника ком-

мунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем ослотившийся, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запевает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет, — поет он на старинный русский манер, врасстяжку, как бы неохотно, как бы хриловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...» Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляя он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все видел он это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятым и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затаяет. Затаивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это... А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуедем, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуета», он встает, нечесаный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разываются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоскодонке, у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и теплый, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: — Только втору давай смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю...

Мо-о-орю си-и-инему...

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушко...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петье:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется...

Ах, да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же, и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

1959

ПЛАЧУ И РЫДАЮ...

Их было трое — ни много ни мало, а как раз в меру для недельной жизни в лесу, охоты и разговоров. Старшему было лет сорок, был он косолап, лохмат, черен, но со светлыми длинными глазами, все время восхищался природой и любил поговорить. Звали его Елагин.

Другой — лет тридцати — был коренаст, груб и насмешлив, хотя имя имел тихое, мечтательное: Хмолин. Он служил егерем, охотился с детства, кажется, только и делал всю жизнь, что стрелял, и ко всем городским, которые приезжали к нему на егерский участок, относился с пренебрежением.

Третий был просто Ваня, свеженький мальчик со щечками, веснушками, с постоянной радостной улыбкой — покорный и услужливый. Ване было лет пятнадцать, и приехал он с Елагиным.

Днем они охотились на уток, но почти всегда неудачно — не было у них ни скрадок, ни подсадных, ни лодки, а утки держались всегда далеко от берега и взлетали чуть не за километр.

Зато вечерами была тяга, и тут уж пальба раздавалась на весь лес, и убивать случалось часто. Пришли на тягу они и в этот вечер, тотчас стали каждый на свое любимое место и подняли лица к небу.

До чего же это был прекрасный весенний вечер! Оттаявшая земля резко шибала в нос, хотя из оврагов тянуло еще снежным холодом. По дну ближнего оврага бежал ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожали, сгибались и медленно выпрямлялись в борьбе с течением. И все это происходило бесшумно — только светлая, отражающая небо вода в воронках и струях и черные набухшие лозины над ней. Зато ниже по течению ручей трепетал в овражной тьме, как струна, и оттуда слышались то будто удары сухого полена о полено, то будто вытаскивал кто-то с чмоканьем ногу из болота.

Приближался, ударял сумеречный час! И как обычно, для Вани, для Елагина и Хмолина время двоилось: казалось вместе и медленным и быстрым. Пока еще было не слышать ни звука, дневная жизнь замерла, ночная еще не начиналась, и не свистал еще дрозд в стеклянной светлоте между черными ветвями, и солнце еще горело где-то за лесом, один ручей только стучал и чмокал, как всегда. Но зато все заметили под ногами на черной земле между жухлыми листьями какие-то красные и ярко-зеленые почки и стручки — напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня... И лес стал вроде не так прозрачен, как вчера, ветви набухли больше прежнего, и почки стали толще, а вчерашняя ольха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой, все сушки ее снизу доверху и самый ствол покрылись бородавками, и она вся стала похожа на мохнатую гусеницу.

Прошло какое-то мгновенно-медленное время — а какое, никто бы не мог сказать, — и вот уже трудно стало разбирать на земле и по сторонам, значит, солнце село, и сумерки надвинулись, только небо над головой и к западу было все так же чисто и светло.

Как и вчера, как тысячу лет назад, чистой блестящей каплей между черными как сажа ветвями дубов засверкала Венера. И как только она показалась — а Ваня никак не мог уловить ее появления, он все глядел туда, ее не было, а потом она уже была, — как только она показалась, сейчас же засвистал дрозд. И это значило, что настала ночь и началась иная жизнь.

Как только появилась Венера и запел дрозд, Хмолин и Елагин тотчас закурили, и Ване хорошо были видны огоньки сигарет и дым, синими слоями сползающий к оврагу. Да, ночь наступила, хоть и было светло и вроде длился и зеленел еще вполнеб закат, но это был обман, а на самом деле пришла ночь, — тогда только появились вальдшнепы.

Они были далеко видны на светлом и летели быстро, хотя казалось, что медленно, и в их круглых крыльях, в их волнистом полете, вздымании и опадании было что-то нездешнее. Они хрипели и свистели на лету, и это опять было не похоже ни на один земной звук.

Первым выстрелил Хмолин, выстрел его был гулок и кругл, а далеко в холмах покатилося такое же круглое эхо, а над местом, где стоял невидимый Хмолин, появилось синее облако дыма. Елагин восторженно крикнул что-то, но тут же раз за разом резко и коротко выстрелил сам — у него был бездымный порох, и выстрелы получались сухие: «Тах! Тах!»

Выстрелил и Ваня, а через минуту еще и еще, но все мазал — то брал слишком вперед, то было далеко, то мешала какая-нибудь ветка, которой, конечно, не было, когда он час назад выбирал себе место, оглядываясь и прикидывая, удобно ли стрелять.

То Хмолин, то Елагин наверху бегали куда-то, треща валежником и переключаясь, потом опять возвращались и стояли, а Ване некуда было бегать, он еще ни разу не попал.

Первые вальдшнепы пролетели, стрельба прекратилась, Ваня ощущал кислый запах пороха вокруг себя, сердце у него колотилось, и он сперва ничего не слышал. Но скоро он заметил, что стало гораздо темнее, земля была почти не видна, и дрозд умолк, но зато далеко где-то в разных местах раздавалось то заунывно и постоянно: «У-у!.. У-у!..», то загадочно и коротко: «Тррр... тррр... тррр...»

Опять полетели вальдшнепы, опять первым гулко выстрелил Хмолин, и тут же Ваня увидел, что над оврагом летит что-то темное, с округлыми, как бы перепончатыми крыльями, и стрелять было с руки. Ваня вскинул ружье, повел и ударил, вальдшнеп остановился на месте, будто наткнувшись на что-то, мелко задрожал крыльями и стал падать. И, уже не видя ничего, кроме падающего вальдшнепа, один раз прикинув только место, куда он должен был упасть, Ваня бросился туда напролом, царапая руки и лицо.

Вальдшнеп упал на склон оврага, обращенный к закату, на открытое место, шуршал листвой и, как лягушка, упруго подсакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке, но он не смотрел на подбегавшего Ваню и, наверное, не видел его, а смотрел вверх, и все — грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина, изгиб шеи — все было устремлено ввысь в смертной тоске.

Наверху еще стреляли, потом перестали, закурили, сошлись, потом окликнули Ваню, потом стали кричать, огогокать, а Ваня был в овраге, держал и разглядывал теплое вальдшнепа, и голова вальдшнепа уже моталась и щекотала Ванины руки.

Хмолин убил двух, Елагин ничего не убил, а Ваня не удержался и соврал, что тоже убил двух, но одного никак не мог найти, хотя искал до темноты. Когда покурили, посмотрели и уложили вальдшнепов Хмолину в рюкзак и пошли домой, в егерскую сторожку, Венера еще ниже сошла к горизонту, блестела сильно и колко, а свет зари глухо, мрачно и зелено виднелся сквозь голый лес. По дороге то и дело встречались ручьи, поющие одну и ту же песню воды. Попадались и лужи — еле угадываемые и таинственные, как миражи, среди черноты земли. Но охотники уже не обращали ни на что внимания, а спешили добраться до сторожки, и мысли у всех были одинаковые: о печке, о вальдшнепиной похлебке, о крепком хорошем чае. Они все были счастливы, замучены весной и как-то даже сонны, но знали, что это пройдет, как только они придут домой.

Когда вышли на вырубку, все одновременно увидели, что низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост, шоколадно просвечивал. На вырубке стояла красноватая тьма, дальние деревья и пруты были видны, а ближние как-то пропадали, все постоянно налетали на них, загораживали лица и даже останавливались, вглядываясь, куда пойти, где посвободнее.

Вырубка незаметно и долго поднималась от оврагов, и когда прошли уже половину ее, Ваня заметил впереди как будто корягу, горелый ствол с торчащим сверху толстым суком, совсем как лось.

— На лося похожа! — сказал Ваня, думая про корягу.

— Да это и есть лось! — узнал, вглядевшись, Хмолин. — Вон и еще пара... А! Это сохач, а с ним лосиха с теленком — глядите!

Лоси, застигнутые в этой красноватой мгле среди чего-то своего, звериного, вели себя странно — не убегали, только теленок подошел к лосихе и слился с нею, может быть, сосал, а сохатый поднял большие уши и стоял отдельно. Потом сделал несколько шагов навстречу охотникам, еще выше задрал морду и глядел на них поверх лозин.

— А он не кинется? — тихо спросил Ваня.

— Может! — быстро отозвался Хмолин, а Елагин встревоженно кашлянул, и Ваня понял, что и они боятся.

Охотники пошли дальше, забирая влево, далеко обходя лосей, и сохач не шевельнулся больше, только голову поворачивал — до него было каких-нибудь тридцать шагов.

— Эх, вдарить бы! — бормотал Хмолин, нервно посмеиваясь. — Знают свою безопасность...

И стал рассказывать, что в области теперь больше трех тысяч лосей и что был у них случай, когда лось пристал к коровам и кидался на дойрок, когда те приходили доить на выпасы.

А Ваню как начало знобить при виде лосей, так уж и не отпускало. Он то думал о них, какие они красновато-коричневые, большие и бесшумные, то опять вспоминал о вальдшнепах, об их странном полете и хорканье и что они точно так же летали когда-то над лесами, миллионы лет назад, и леса те давно упали, погрузились и стали каменным углем, а вальдшнепы и теперь летают. Он шел последним, по сторонам не смотрел, уверенный, что увидит страшное, боялся отстать и крепко держался вспотевшей рукой за шейку ружья, которое незаметно зарядил уже пулями жакан.

Совсем близко от сторожки охотники остановились на берегу ручья, тихо посовещались, где лучше перейти, и пошлИ налево. У Вани от их тихих голосов мурашки по спине пошлИ, хоть он и знал с тайным счастьем, что пугаться некого, попытался идти между Хмолиным и Елагиным, но ему не удалось, и он теперь, спотыкаясь, шел вплотную за Хмолиным и часто толкал того грудью в рюкзак.

Они дошли до пологого берега, подтянули сапоги и побрели через ручей. Ваня замешкался, шагнул в воду, вода холодно и плотно обхватила его ноги, он покачулся и чуть не крикнул: «Погодите!», но застыдил-ся, а потом был рад, что никто не заметил его испуга.

Перейдя ручей, охотники поднялись наверх, пролезли через гибкие набухшие кусты и увидели темный силуэт избушки и невнятно блистающую округлость «Победы» рядом. Войдя в избушку, зажгли свет — маленькую ослепительную лампочку от аккумулятора, — и каждый тотчас занялся своим делом.

Елагин стал ломать о колено хворост и совать в топку грубой печки. Хмолин вынул из рюкзака взъерошенных вальдшнепов и, скинув только ватник, сел на низкий табурет к печке тереть их, а Ваня с замиравшим сердцем спустился к ручью за водой и бегом, расплескивая воду, вернулся назад.

Елагин уже растапливал печь, слабое пока пламя шевелилось где-то в глубине топки. Отлив из ведра в котелок и чайник, Ваня поставил их на плиту, пошел к топчану, разобрал поудобнее набросанные там телогрейки и одеяла, стащил сапоги, лег головой к окну, накрыл лампочку маленьким абажуром и включил транзистор. Приемник стал трещать,

музыка и голоса перебивали друг друга, посвистывало и уйкало, и Ваня, покрутив минуты две, выключил его и повалился на спину.

Все долго молчали. Печка разгорелась и начала гудеть, постреливать искрами в раскрытую дверцу. Возле нее становилось жарко сидеть, Елагин отодвинулся, слегка отодвинулся со своими вальдшнепами и Хмолин. Ваня шевелил босыми ногами и смотрел на закопченный потолок и стены, которые все были изрезаны ножами.— искусно и грубо были вырезаны даты и имена. И Ваня думал о всех людях, которые здесь побывали, и как они тоже топили печь, выпивали и разговаривали.

В избушке пахло душисто и сложно: от ружей тянуло пороховым дымом, пахло еще сапогами, дымом можжевельника от печки, теплой глиной, дегтем от дымохода, шерстью свитеров и одеял.

Елагин, изогнувшись назад, стащил с топчана телогрейку, бросил на пол и присел, потом один об один стянул сапоги, закурил и стал задумчиво следить, как дым, розовея, уходит в печку.

Лица Хмолина не было видно. Он с усилием, с треском, вырывал маховые перья из крыльев и посапывал.

— Эге! — сказал вдруг он, разглядывая ошипанную тушку.— Вон куда попало, в шею... И вот еще в боку, под крылом, глядите! А ты, Ванька, молодец, здорово саданул, я видал!

Ваня заулыбался и покраснел: это был его первый вальдшнеп. Елагин шевельнулся и серьезно пригляделся к вальдшнепу. Хмолин поскубывал еще, выдергивая последние перышки. Вальдшнеп мертво, бесильно побалтывал шеей в его руках.

— А они чувствуют свою смерть? — спросил Ваня, глядя на вальдшнепа.

— Всякая тварь сознает,— быстро сказал Хмолин, будто ждал этого вопроса и все у него давно было решено.

А Елагин вдруг взволновался, встал в одних носках, в выпущенной рубашке, налил себе водки в кружку, в другую налил воды и стал ходить от стола к печке и говорить. Волосы свалились ему на лоб, ступал он косяком, горбился и говорил, говорил и забывал, в какой руке у него водка, в какой вода, останавливался, нюхал по очереди, потом вскидывал голову, произносил «Ура!», смотрел на Хмолина и Ваню светлыми длинными глазами, выпивал и опять начинал говорить.

Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощай тогда вся радость и все. Что мучительно это сознание неминуемой смерти и что аз есмь земля и пепел, и паки рассмотрю во гробех и видех кости, кости обнажены, и рекубо кто есть царь, или воин, или праведник, или грешник? Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту безобразных бесславно, не имущу вида!

Был Елагин филолог, доцент и обо всем — о войне ли, о любви, об истории — говорил длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что все он знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать. Только Хмолин иногда, не выдержав, перебивал его какой-нибудь дикой историей и хохотал, как леший, — москвичей он все-таки презирал.

Поговорив о смерти, ужаснувшись ей, Елагин свесил голову, задумался, потом тряхнул волосами, крикнул: «Ура!», еще выпил и, слегка уже опьянев, заблестев глазами, заговорил о любви, о женщине, о ее святости, о том, что все-таки высшее на земле есть доброта и любовь, а этим как раз и сильна женщина.

И опять его хорошо, интересно было слушать, опять казалось, что все, что он говорит, — истинная правда, и Ваня с горящими щеками уже как-то особенно нежно думал о знакомых девчонках, только Хмолин что-то все хмыкал, потом не выдержал и перебил:

— Мура все это! Это только у вас там в книжках все написано, а жизнь другое говорит. У меня вот приятель был, — Хмолин оживился и перестал драть вальдшнепа. — Спутался с одной бабенкой по пьянке. Прямо сказать, извиняюсь за выражение, занюханная была бабенка, дура необразованная, тонконогая какая-то, уделанная, одним словом, я не видал... Так вот, раз он к ней по пьянке завалился, другой, третий, и ни полслова там о любви или об женитьбе, ничего! И она сама знала это, и сама его не любила нисколько, какая там любовь! Только встречаются они однажды, она ему — ррраз! — женись! «Пойдем в загс, а то утоплюсь!» А? Он туда-сюда, а она ему: «Утоплюсь и письмо на тебя напишу в райком». А? А он тогда комсомольцем был. Спасибо, я ему сказал: «Держись, ничего с ней не станет, на том зад и сядет». Он и держался, похудел весь, месяц не в себе ходил, я уж думал, копыта откинёт, так почернел. Ну, да обошлось, по-моему вышло. Вот тебе и это — как ты сказал? — святая там доброта, саможертвова... жертванье, одним словом, то да се...

Хмолин, довольный, захохотал и опять занялся вальдшнепом. Елагин нахмурился, махнул рукой.

— Грубый ты какой-то, — досадливо сказал он. — Все у тебя какие-то пошлости, черт тебя знает, право!

Хмолин подвинулся к печке и стал палить вальдшнепов, поворачивая их перед огнем и по очереди отдергивая руки — ему было горячо. Потом он опять приладил на табуретке, вытащил из ножен короткий нож и начал потрошить вальдшнепов. Запахло кровью и лесом. Выпотрошив, он начал мыть тушки в ведре, тер так, что скрипело под пальцами, и все приговаривал:

— Ну, похлебка у нас сегодня будет! Молодцы, охотнички!

Через час, когда похлебка почти была уже готова, Хмолин пошел за водой, а вернувшись, брякнув ведром, сказал запыхавшись: «Гляньте, что

делается!» — и сам первый вышел. Тотчас вышли за ним Елагин и Ваня.

Снаружи сторожка облита была жидким лунным светом. Рядом с ней поблескивала «Победа», и на капот ей редко, но крупно и постоянно падала капля из сломанного березового сучка. Дальше в лесу что-то погукивало, постанывало еле слышно, точно так же, как на тяге, все пахло холодом и чистотой, звуки были редки, рассеянны и слабы, только внизу бормотал ручей, откуда брали воду, — будто тихо разговаривали несколько женщин.

Еще дальше, за лесными холмами, в пойме, мощно текла широкая река, и на ней после зимы уж выстроились бакены, стоявшие тоже широко и смело, потому что был разлив и везде теперь было глубоко.

На той стороне реки затаилась молчаливая спящая деревня, но и в ней слышны были звуки дыхания, или редкого неуверенного лая, или сполошного ночного вскрика петуха. За деревней, во тьме полей ползал и ползал одинокий трактор, и неизвестно было, работал ли то ударник или, наоборот, перепахивал кто-то испорченный им же самим днем клин.

— Плачу и рыдаю! — громко сказал Елагин. — Весна! Все живет, все лезет! Не прав, не прав старик. Нет, не прав! Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь — вот как надо! А? Правильно, старики, а?

— Жрать охота, — сказал по привычке грубо Хмолин, но тут же почему-то смущенно закашлял.

— Ну-ну... Пойдем, пойдем, — забормотал Елагин огорченно и тоже смущенно и сторбившись пошел в дом.

Но в сторожке он опять оживился, крикнул «Ура!», пронзительно глянул из-под волос на Хмолина и заговорил:

— Выпьем! Ах, черт, давайте выпьем! Хмолин, Ваня, а? Я вас люблю, я все люблю! И эту печку! Неси сюда старку, Хмолин, шевелись!

Хмолин, усмехаясь, ставил на стол тарелки, резал огурцы, хлеб, вышел в сенцы и принес бутылку. Елагин возился с рюкзаком. Ваня нервно шевелился у себя на топчане, засовывая под стол длинные ноги, глядя блестяще на Елагина и Хмолина, как бы спрашивая, что бы и ему такое сделать и чем помочь.

Елагин вынул консервы, стал застегивать рюкзак, но тут же вновь открыл, нагнулся и, посапывая, долго нюхал.

— Как пахнет! — сказал он и посмотрел на Ваню. Ваня тут же вылез из-за стола и понюхал с наслаждением. Пахло дивно: выглаженным бельем, конфетами, печеньем и будто утренним кофе на даче.

— Дорогой пахнет! — сказал Елагин. — Странствиями, встречами... Ну-ну! Давай, Хмолин, наливай! Ване тоже. Ваня, выпьешь? Понемногу, Хмолин, ладно?

Они сели. Елагин налил себе водки и воды в разные кружки, понюхал ту и другую.

— Ну, за весну! Дай бог, чтобы всегда мир был! Чтобы жили мы все счастливы! За прелестных женщин! Слышишь, Хмолин, у, дурак, дурак! Ну, старики, весна, жизнь! Плачу и рыдаю! Ура!

Они выпили, и каждый кричал, отдувался, морщился, тряс головой, торопливо тыкал вилкой, а когда разошлось, у всех сразу заблестели глаза, все посмотрели друг на друга с улыбкой и тут же смутились оттого, что так бессовестно счастливы. Ваня через минуту опьянел так, что даже жевать не мог, бессмысленно таращился, трогал себя за нос и лоб, стараясь убедиться, что он за столом, а не летит куда-то.

— Э! — сказал Хмолин радостно. — Гляньте на него! Окосел парень! Вань, а Вань! Сколько нас?

Ваня только глупо прыскал и все трогал себя за лоб, тер глаза, но опьянение скоро прошло, все громко заговорили, перебивая, плохо слушая друг друга, и каждый старался сказать что-то умное, даже Ваня; каждому казалось, что они втроем сейчас что-то найдут и решат, как жить дальше людям, и каждый воображал, что только один он все понимает.

Зато ужинали молча, блаженно, хлебали громко и осторожно, боясь обжечься. Все сразу вспотели и начали стаскивать через голову рубашки, выгибаясь, почесываясь тут и там, и труднее всего было чесаться под лопатками.

— Нету дичи лучше вальдшнепа! — все повторял Хмолин. — Я знаю, всех перепробовал!

Поужинав, попили всласть чаю, послушали последние известия, покурили, позевали и стали разбираться на ночь.

Хмолин и Елагин легли на одном топчане — он был пошире, Ваня на другом: с ним никто не хотел спать, уж очень он брыкался во сне. И опять долго молчали. Не было обычных предсонных разговоров. Раз два Елагин вставал и выходил, потом возвращался и все повторял:

— Плачу и рыдаю!..

Ваня хотел тоже выйти с ним, но подумал, что сейчас там холодно, тихо, пустынно — одна луна! Ему вдруг стало жутко-весело, как бывает только в детстве, в деревне, на ночевках, когда ложатся все вместе, начинают тискать друг друга, взвизгивать от восторга, прыскать в подушки. Когда кто-нибудь издает вдруг долгий задумчивый звук, и все, давась от смеха, начинают колотить кого попало и кричать: «Кто это? Ты, Витька?» — «Не!» — «Петька?» — «Не!..» — когда страшно неизвестно чего: чертей ли, темноты, тишины ли за стеной, и в то же время не страшно ничего, а счастливо и легко. Когда так успокаивающе действует разговор взрослых за стеной, которого и не слышно, а слышно только «бу-бу-бу-бу». И когда так неистово и беспросветно засыпается посреди

шепота приятелей, толкотни, и возни, и сказок — и спится, спится долго, до следующего яркого летнего дня.

Такое точно чувство испытал внезапно Ваня, завожилась у себя, дрыгая ногами, укусил подушку, уткнулся в нее, чтобы не загоготать, и засопел, с блаженством думая, что сегодня ели его вальдшнепа, что он научился стрелять влет, что был разговор о любви, о смерти и о времени и что все это ерунда, а главное — подбить бы ему и завтра вальдшнепа или утку.

Припадок безмолвного смеха прошел, Ваня затих, отнял лицо от подушки, и опять в нос ему ударил запах табака, сапог и пороха из ружейных стволов.

И долго так все лежали, и никто не спал, и каждый знал, что никто не спит, потому что все тихо дышали и думали, думали...

1963

О МУЖЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

Я сидел наверху этой истонченной, зажитой, наполненной разными моряками и экспедициями, замусоленной, прекрасной архангельской гостиницы (в старом ее крыле), в нашем номере, среди развороченных рюкзаков, разбросанных вещей, среди всех этих сапог, пачек сигарет, бритв, ружей, патронов и всего прочего, после тяжелого, ненужного спора о литературе, сидел возле окна, грустно подперся, а было уж поздно, в который раз пришла смиренная белая ночь и вливалась в меня, как яд, звала еще дальше, и хоть я и зол был, но зато хорошо, весело становилось от мысли, что завтра нам нужно устраиваться на зверобойной шхуне, чтобы идти потом к Новой Земле и еще дальше, куда-то в Карское море.

И я все глядел из окна вдаль, поверх крыш, на светлый горизонт с легкими розовыми облаками. На Двине, там и сям проблескивающей между крышами, черно стояли на рейде громадные лесовозы, слабо мигали своими топовыми огнями, иногда сипел пар, глухо бормотали работающие винты, тявкали, как собаки, высокие сирены буксиров и мощно и грустно гудели прощальные гудки.

Внизу шуршали редкие уже автомашины, прогромыхивали еще реже трамваи. Внизу шумел, гудел в этот час ресторан, наяривал, пиликал и колотил оркестрик (тогда там играли по вечерам какие-то пенсии), и мне хорошо он был слышен, хоть и выходили во двор ресторанные окна. Внизу несменяемый, вечный дядя Вася не пускал в ресторан разных прохиндеев, алчущих шикарной жизни, а в ресторане сидел в этот

час счастливый мой друг-приятель с румынскими циркачами, говорил с ними по-испански и по-эскимосски, а я был один, все вспоминал, как мы только что спорили внизу о литературе с местным знатоком, и думал о мужестве писателя.

Писатель должен быть мужествен, думал я, потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг — просто страшно подумать! — и мысли о том, зачем же еще писать, когда про все это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в этот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать.

Везде вокруг него живет, шевелится, кружится, идет куда-то весь мир. И он, уже с рождения, захвачен этим миром в плен и должен жить вместе со всеми, тогда как ему надо быть в эту минуту одному. Потому что в эту минуту возле него не должно быть никого — ни любимой, ни матери, ни жены, ни детей, а должны быть с ним одни его герои, одно его слово, одна страсть, которой он себя посвятил.

Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей, выдуманной им жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления, — те, которые будут, — и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один.

В том-то вся и штука, что ему никто никогда не поможет, не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. И если он сам не может, значит, все пропало — он не писатель. Никому нет дела до того, болен ты или здоров, за свое ли ты дело взялся, есть ли у тебя терпение, — это наивысшее мужество. Если ты написал плохо, тебя не спасут ни звания, ни награды, ни прошлые успехи. Звания иногда помогут тебе опубликовать твою плохую вещь, друзья твои поторопятся расхвалить ее, и деньги ты за нее получишь; но все равно ты не писатель...

Нужно держаться, нужно быть мужественным, чтобы начать все сначала. Нужно быть мужественным, чтобы терпеть и ждать, если талант твой вдруг уйдет от тебя и ты почувствуешь отвращение при одной

мысли сесты за стол. Талант иногда уходит надолго, но он всегда возвращается, если ты мужествен.

Настоящий писатель работает по десять часов в день. Часто у него застопоривает, и тогда проходит день, и еще день, и еще много дней, а он не может бросить, не может писать дальше и с бешенством, почти со слезами чувствует, как проходят дни, которых у него так мало, и проходят впустую.

Наконец он ставит точку. Теперь он пуст, настолько пуст, что уже не напишет больше никогда ни слова, как ему кажется. Ну что ж, может сказать он, зато я сделал свою работу, вот она лежит у меня на столе, пачка исписанной бумаги. И ничего такого до меня не было. Пусть до меня писали Толстой и Чехов, но это написал я. Это другое. И пусть у меня хуже, но все-таки и у меня здорово, и ничего еще не известно, хуже там или не хуже. Пусть попробует кто-нибудь, как я!

Когда работа сделана, писатель может так подумать. Он поставил точку и, значит, победил самого себя, такой короткий радостный день! Тем более что скоро ему начинать новую вещь, а теперь ему нужна радость. Она ведь так коротка.

Потому что он вдруг видит, что, скажем, весна прошла, что пронеслось над ним огромное время с того момента, когда в начале апреля, ночью, на западе собрались черные тучи, и из этой черноты неумоимо, ровно и мощно задул теплый ветер, и снег стал ноздреть. Прошел ледоход, прошла тяга, оттремели ручьи, отдымила первая зелень, и колос налился и пожелтел — целый век прошел, а он прозевал, не видал ничего этого. Сколько случилось в мире за это время, сколько событий со всеми людьми, а он только работал, только клал перед собой все новые белые листы бумаги, только и видел свету, что в своих героях. Этого времени ему никто не вернет, оно прошло для него навсегда.

Потом писатель отдает свою вещь в журнал. Возьмем лучший случай, предположим, что вещь его берут сразу, с радостью. Писателю звонят или посылают телеграмму. Поздравляют его. Хвастают его вещью перед другими журналами. Писатель едет в редакцию, входит туда свободно, шумно. Все рады его видеть, и он рад, такие все милые люди. «Дорогой! — говорят ему. — Даем! Даем! Ставим в двенадцатый номер!» А двенадцатый номер — это декабрь. Зима. А теперь лето...

И все бодро смотрят на писателя, улыбаются, жмут ему руку, хлопают по плечу. Все как-то уверены, что у писателя пятьсот лет жизни впереди. И что полгода ждать для него, как шесть дней.

Для писателя начинается странная, тягостная пора. Он торопит время. Скорей, скорей бы прошло лето. И осень, к черту осень! Декабрь — вот что ему нужно. Писатель изнемогает в ожидании декабря.

А уж он опять работает, и опять у него то получается, то нет, год

прошел, колесо повернулось в который раз и опять дохнет апрель, и в дело вступила критика — расплата за старую вещь.

Писатели читают критику на себя. Это неверно, будто бы некоторые писатели не интересуются тем, что о них пишут. И вот когда им нужно все их мужество. Чтобы не бросать работы, когда очень уж ругают. И чтобы не верить похвалам, если хвалят. Похвала страшна, она приучает писателя думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Тогда он начинает учить других, вместо того чтобы учиться самому. Как бы хорошо он ни писал свою очередную вещь, он может еще лучше, надо только быть мужественным и учиться.

Но не похвалы или разносы самое страшное. Самое страшное — когда о тебе молчат. Когда у тебя выходят книги и ты знаешь, что это настоящие книги, но о них не вспоминают, — вот когда надо быть сильным!

Литературная правда всегда идет от правды жизни, и к собственно писательскому мужеству советский писатель должен прибавить еще мужество летчиков, моряков, рабочих — тех людей, кто в поте лица меняет жизнь на земле, тех, о ком он пишет. Ведь он пишет, по возможности, о самых разнообразных людях, обо всех людях, и он должен их всех повидать сам и пожить с ними. На какое-то время он должен стать, как они, геологом, лесорубом, рабочим, охотником, трактористом. И писатель сидит в кубрике сейнера вместе с моряками, или идет с партией через тайгу, или летает с летчиками полярной авиации, или проводит суда Великим Северным путем.

Советский писатель должен помнить еще, что зло существует на земле, что физическое истребление, лишение элементарных свобод, насилие, уничтожение, голод, фанатизм и тупость, войны и фашизм существуют. Он должен по мере своих сил протестовать против всего этого, и его голос, возвышенный против лжи, фарисейства и преступлений, есть мужество особого рода.

Писатель, наконец, должен стать солдатом, если понадобится, мужества его должно хватить и на это, чтобы потом, если он останется в живых, опять сесть за стол и опять оказаться один на один с чистым листом бумаги.

Мужество писателя должно быть первого сорта. Оно должно быть с ним постоянно, потому что то, что он делает, он делает не день, не два, а всю жизнь. И он знает, что каждый раз начнется все сначала и будет еще трудней.

Если писателю не хватит мужества — он пропал. Он пропал, даже если у него есть талант. Он станет завистником, он начнет поносить своих собратьев. Холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию... И тогда он уже никогда не узнает настоящего писательского счастья. А счастье у писателя есть.

Есть все-таки и в его работе минута, когда все идет и то, что вчера не получалось, сегодня получается безо всяких усилий. Когда машинка трещит, как пулемет, а чистые листы закладываются один за другим, как обоймы. Когда работа легка и безоглядна, когда писатель чувствует себя мощным и честным.

Когда он вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и слово было бог! Это бывает редко даже у гениев, но это бывает всегда только у мужественных, награда за все труды и дни, за неудовлетворенность, за отчаяние — эта внезапная божественность слова. И, написав эту страницу, писатель знает, что потом это останется. Другое не останется, а эта страница останется.

Когда он понимает, что надо писать правду, что только в правде его спасение. Только не надо думать, что твою правду примут сразу и безоговорочно. Но ты все равно должен писать, думая о бесчисленных неведомых тебе людях, для которых ты в конце концов пишешь. Ведь пишешь ты не для редактора, не для критика, не для денег, хотя тебе, как и всем, нужны деньги, но не для них ты пишешь в конечном итоге. Деньги можно заработать как угодно, и не обязательно писательством. А ты пишешь, помня о божественности слова и о правде. Ты пишешь и думаешь, что литература — это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоём лице. Об этом ты должен помнить всегда и быть счастлив и горд тем, что на долю тебе выпала такая честь.

Когда ты вдруг взглянешь на часы и увидишь, что уже два или три, на всей земле ночь, и на огромных пространствах люди спят или любят друг друга и ничего не хотят знать, кроме своей любви, или убивают друг друга, и летят самолеты с бомбами, а еще где-нибудь танцуют, и дикторы всевозможных радиостанций используют электроэнергию для лжи, успокоения, тревог, веселья, для разочарований и надежд... а ты, такой слабый и одинокий в этот час, не спишь и думаешь о целом мире, ты мучительно хочешь, чтобы все люди на земле стали наконец счастливы и свободны, чтобы исчезли неравенство, войны, и расизм, и бедность, чтобы труд стал необходим всем, как необходим воздух.

Но самое главное счастье в том, что ты не один не спишь этой глубокой ночью. Вместе с тобой не спят другие писатели, твои братья по слову. И все вместе вы хотите одного — чтобы мир стал лучше, а человек человечнее.

У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь. Но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше.

ОТХОД

...И вытянул мой гениальный друг свою гениальную, длинную руку и бережно, нежно за горлышко, поэтически взял бутылку шампанского и, обдирая серебристую шкурку с пробки, оглядывая нас всех круглыми гениальными глазами из-под челки, стал говорить, стал прибоорматывать, ворковать:

— Ну... ну... Ребята, ребята... Напоследок, а? А? А? Шампанского, а? Володя... Але... Алеша, а? Хорошо тебе, Юра, а?

И двинули мы стульями, сели теснее, по-братски, и откашлялись, и торопливо закурили, а пробка между тем хлопнула в потолок, дымок пополз из горлышка, и поплыла, прореяла над столом длинная рука с бутылкой, и бокалы наши и сердца наполнились...

«Скоро отход, отход, отход!» — застучало мое сердце под звяк ножей и тарелок, среди этого теплого, низкого, морского ресторанного шума, в который пение рюмок, их чистые голоса влетались, как корабельные склянки, как флейта-пикколо в тремолирующий оркестр.

«Отход, отход, дожил, счастливый день, мой день!» — звучало мне во всех голосах и лицах моих друзей за этим длинным столом, в нашем закутке, в углу, скрытом от всего зала, в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Васей внизу, у входа, с бесценными официантками, которые тебя уже знают, узнают в частые твои приезды за все эти годы, улыбаются, спрашивают: «Надолго к нам? А-а...» — и оркестр игра-играет, и трубачи трубя-трубят, белая ночь за окном, и наша шхуна, наша «Моряна», которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во льды, — эта шхуна где-то стоит, неизвестно где — на фактории, у Холодильника ли, на рейде ли... Но я спокоен, — она не уйдет без нас, — потому что рядом со мной капитан Саша, а напротив — Илья Николаевич, стармех, потом Алеша, старший помощник, чиф, все начальство с нами и Володя — моторист, рыжий, розовый лицом, и женщины веселые сидят, глядят на нас как на героев, как на полярных волков, и вездесущий Глеб Глебыч Бострем с нами, а его-то знает пол-Архангельска, а уж он-то знает весь Архангельск! И какие-то моряки, пилоты, штурманы и бог знает кто еще — все подходят поздороваться с ним, потом узнают наших моряков-зверобоев, и — сразу восторг: «Ого! У-у! О-о! а я глжу — кто это? Здоров? Давно пришел? Когда уходишь?»

Все откуда-то пришли или уходят в бесконечность моря, и я счастлив без оглядки, потому что и мы тут, вот тут — в этом ресторане — как птицы, мы только присели, а шхуна уже ждет, как судьба, вот мы сейчас встанем и тоже уйдем, уйдем...

И звучат в нас и вне нас гул, бормотанья, дружба, любовь, и музыка ликует, уравнивает своей стройностью хаос — «Хотят ли русские войны?» — «Нет, нет, русские хотят танцевать перед тем, как уйти в море!» — и все танцуют, одни мы сидим, последние минуты досиживаем, последние минуты здесь, на берегу, а там — два месяца, целый июль

и целый август, все будет океан, льды, тундра, белуха, ее кровь и немой вопль, а еще работа, работа, нет, мы не танцуем, сквозь гул, сквозь музыку, сквозь оклики, сквозь розовую ночь, брезжущую из-за наших спин, из-за большого окна, мы все говорим, говорим в эти последние минуты, будто прорываемся куда-то.

— Шампанского, а? Ребята, а? Шампанского, Юра? Давайте, давайте, давайте... Ночи в Архангельске — сплошное «быть может!» А, Юра? То ли в Архангельске, то ли в Марселе... (Женя, Женя!) бродят... новехонькие штурмана... А?

— Ну, знаю я, знаю, тут Тыко Вылка жил, приезжал, жил тут, вот в этой гостинице... Знаю, ненец Вылка, художник! Президент Новой Земли!

— А ты как думал? Тут все жили!

— Еще по одной, а?

— Все тут жили — и Отто Юльевич... Ни одна, понимаешь ты, полярная экспедиция не миновала!

— Ты, Юра, едри ее мать, ко мне домой приезжай. В гости. Прямо ко мне, понял? Специально на охоту. У меня лодка-моторка, мы с тобой, Юра...

А я вдруг как-то отдалился, вспомнил о другом поэте, не о том, который вот тут, рядом со мной, — о другом. Мысленно отыскал я его во Вселенной, не знаю где — в Сигулде, в Париже ли, но он послушно явился, и я увидел, с какой завистью смотрит он на меня.

Ау, говорю я ему, в дорогу! Давай поедем с тобой на охоту. Дай руку, пойдем в лес — ну, скажем, в ноябрьский лес, который сегодня утром отволгл после мороза, и все деревья, все ветки, вся трава, каждая усинка, былинка стали седыми, и светит прохладное солнце, все сверкает, режет глаза белизной, вокруг нас выютя женственные гончие суки, пар клубочками пыхает у них из пасти, и егерь подпоясывается. Подпоясывается егерь, весело глядит на нас, мы — на него, и вот уж мы пошли, зашагали, ружья за плечи, впереди лес с мокро-зеленым мхом, с бурой травой понизу, с серебром поверху, по ветвям, собаки наши одна за другой скрываются в кустах... Мы говорим о погоде, о том, что мало в этом году зайцев (их всегда мало в этом году!), о том, какие у егеря дети, как учатся и чем болеют. Разговоры, табачный дымок, наш стук сердца, волнение, а по сторонам зелена, опушки, понижения и повышения мохнатеньких издали лесов, холмы, и дали проглядываются резко, собаки пока не брешут, и мы идем, ступаем по замерзшим лужам, лед хрупает, жижа на дороге прыскает на иней, и следы за нами остаются грязные на белой дороге, егерь говорит все «чаво» да «каво» и обязательно важный, веселый, умный (они все такие), за спиной у него рог — один золотится на всем серебряном.

И вот собаки подняли, взлаяли чперемежку, в три голоса, погнажи, завопили, застонали, ах-ах, мы побежали кто куда, занимать ласы, слушать, перебегать. Собаки заглохли вдали, опять появились на слух, скололись, замолчали, опять дружно взлаяли — куда гонят? — налево, налево, — и мы налево, бежим, ломимся сквозь кусты, ах-ах, гон все ближе, слышен уже не только лай, слышны вскрипы, взвизги, а по просеке, по поляне, по тропе мягко перекатывается упругими толчками заяц — ох! — выстрел, — ох! — еще! — заяц спотыкается, летит кувырком, растягивается, как резиновый... С ума, что ли, сошли собаки? Куда они гонят? Куда они опять пошли нести свои голоса, свой брех, свои пятна на боках, брылья, правила, почему они уходят?

— Егерь, егерь! — скорей, где твоя валторна, давай труби!

И затрубил егерь. У-у-у-у-у-у! — проносится заунывно над лесом. Пфо-о-о-о-о-о-о! Собак опять не слышать, но они нас слышат, молчком бегут к нам, возвращаются, выбегают одна за другой на открытое, языки на сторону, пар уже не клубочками — пышет из красных пастей, а мы давно уж держим тяжелого зайца, и голова у него уж поматывается, уши обвисли, но все равно еще не сошлись вместе, смотрят на стороны.

Ну, давай же поедем скорей, давай проживем такой день!

— ...Женя! Женя, приезжай ко мне, у меня дом, хозяйство, все такое... Женя, приезжай, Женя!

— Женя, потом стихи дай списать, а?

— Вот Копытов выступает на совещании, говорит: «Есть, говорит, тюлень!» А наука, говорит, не имеет тесного контакта со зверобоями. Это, говорит, на пять лет закрывать промысел, что тогда зверобой скажут? План есть план, а заработок есть заработок. И слухи об исчезновении тюленя — это, товарищи, непроверенные слухи.

— Илья Николаевич, шампанского, а? Меня два человека спасли в прошлом году. Вот Юра спас... На Север увез, давайте, давайте... Саша! Илья Николаевич! Давайте... Алеша! За Север!

— А второй-то кто?

— Надя! Наденька, я вас люблю, я нежно так вас люблю! Скажите мне что-нибудь, а? На прощанье. Подари-и-и на прощанье мне биле-е-ет!

— Восемьдесят восемь!

— А?

— На! Ты слушай. Выступает тут Яковенко из ПИНРО, и пошел! Как это, говорит, есть тюлень? Наука, говорит, вещь точная, и у науки есть данные... Чуть не всего, говорит, перебили лысуна! Товарищ, говорит, Копытов о плане заботится, это хорошо, но это экономическая близорукость, а? Нам, товарищи, теперь, к сожалению, не о плане думать нужно, а о наших детях, о наших потомках! А потомки эти нам, товарищ Копытов, спасибо не скажут, нет, не скажут.

— Саша! Саша!

— ...Потому что, говорит, если мы не можем контролировать залежки лысуна у Ньюфаундленда или Ян-Майена, то тут у себя, на Белом море, контроль мы осуществить вполне можем и должны...

— Саша! Александр Константиныч! Капитан!

— А?

— Что такое «восемьдесят восемь»?

— А-а... (улыбаясь и подмигивая). Это значит: «Я люблю тебя, мальчик!» Так вот, ученые, говорит, решительно настаивают на полном запрете забоя лысуна сроком на пять лет! Видал!

Я повернулся и взглянул в окно. Над гостиничным серым двором; над ящиками и бочками, сваленными в углу; на уровне верхних окон, плоско вспыхивающих от заката, висел в воздухе мой поэт; увидев, что я смотрю на него, он приблизился, влетел в окно и сел за стол между рыжим Володей и Ильей Николаевичем. Они ничего не заметили.

— А то поедем,— сказал я ему,— поедем куда-нибудь на север, подалее, на Канин Нос... (Поэт прикрыл свой пересохший рот, потрогал заграничный галстук, поправил манжеты; нос его покраснел и распух, а лицо побледнело от волнения; он закивал головой.) Ах, да! — вспомнил я.— Останкинские пруды, запах лип, цветущих кронами вниз, дожди над асфальтом, пролившиеся в небо... А еще рыхлая пористая бумага, на которой то жирно, то слабо чернеют свежие гранки; подъезды клубов, поэтические вечера, аплодисменты, автографы, влюбленные девочки. Но и это не вещь — вот Париж, Нью-Йорк, София, Лондон, снимки в журналах и газетах, джинфиз и стриптиз, интервью, заграничные шумы, летящие во тьме низкие авто, аэропорты — автопортреты... А?

Но не в этом наш исток, гул крови не в этом, а вот поедем-ка на Канин Нос и проснемся однажды среди бледной природы, под бледной ночью, на берегу реки, недалеко от моря, в старой избе среди всхрапывающих рыбаков.

Натянем мы сапоги и брезентовые штаны, натялим шапки-ушанки. Мы выйдем на рассвете и увидим, что по реке ползет туман, а вода коричнево проглядывает сквозь молочные завитки. Тундра с приплюснутыми островками вереска уныло пахнет нам в душу. На берегу будет тянуть дымком от вчерашнего, еще тлеющего костра, сладким торфом и далеким сероводородом с моря, от гниющих там водорослей.

Несколько раз хлопнет, стукнет дверь избушки, рыбаки соберутся на берегу, все сразу зазевает, зачешутся. Потом закурят один за другим, закашляются. Потом, скрипя по сырому песку, пойдут вниз, к черной моторной лодке, спихнут ее с хрустом в воду, и сами туда же влезут, и уже из воды начнут вваливаться через борта внутрь, рассаживаться и устраиваться. Кто-нибудь зачерпнет сапогом, кто-нибудь ударится ко-

ленкой о скамейку, тихо выматерится, а остальные посмеются, заговорят. Голоса далеко будут разноситься по воде. Моторист начнет заводить мотор, лодка станет вздрагивать от его рывков, покачиваться... Мотор застучит, берега и туман двинутся мимо нас, и сначала медленно, а потом все шибче побежим мы к морю.

Первые чайки встретят нас, закружатся над нами, заверещат. С криком подымутся в тумане утки, черной ниткой потянутся вдоль берега. Нерпа покажется черным мячиком на шелковистой воде. Придет и качнет нас первая океанская волна, мы оглянемся: берег будет уж далеко, избушки, где провели ночь, мы уже не увидим. А моторка все будет тахтеть, вода под носом — шипеть, рыбаки разговариваться окончательно, начнут орать, наклоняясь друг к другу, полярный рассвет окончится, и настанет наш радостный день...

— ...Наденька!

— Что?

— Восемьдесят восемь!

— Ха-ха-ха...

— Ну, еще по одной!

— А на шхуну не опоздаем?

— Ты, едри ее мать, с начальством сидишь. Будь спокоен, без нас не уйдет.

— А где она стоит-то?

— Да была на рейде, теперь к Холодильнику небось подошла.

— Время-то сколько?

— Юра, Юра, у тебя какое ружье?

— «Зимсон», а что?

— А у тебя «тулка» штучная, бьет лучше всяких «зимсонов»!

— Ладно, попробуем...

— А вот мы с Юрой скоро в Америку поедem, поедem, Юра?

— Вот Копытов мне по радио говорит с ледокола, к тебе, говорит, на шхуну писателя с вертолета ссадят. А я думаю, вот, думаю, черти принесли этого писателя! Нет, говорю, товарищ Копытов, пускай его высаживают на «Нерпу», там ребята передовые. А ты, говорит, Копытов, тоже передовой, принимай гостя. Да у меня, говорю, вал погнут и все такое, а сам думаю: «Без писателя-то, думаю, оно веселее, на черта он нам сдался!»

— А помнишь потом, как нас буксировали?

— А в Мурманске-то помнишь, как прощались?

— Ты, Женя, на Новой Земле бывал ли? Вот погоди, зайдем, гольца там будем ловить. Гольца ел когда-нибудь? Сла-ад-кий... В губу Саханова зайдем, гусей там полно!

— Бывает, другой раз такое стадо белухи зайдет! Голов на сотню, вот когда работа!

- Ну, ребята, еще по одной и пойдем! Пора!
- Да-да, пора, поехали!
- Х-хе!.. Кха! — хорроша!
- Ф-фффу! А ничего — прошла...
- Девушка! Сколько с нас, посчитайте!

Мы вышли в ночь, в пустынный город. Прощай, дядя Вася, прощай гостиница! Женя, почему тебя, морского волка, зверобоя, в газету не снимают, как идешь ты по ночному городу с ружьем? Почему репортеры не подхватывают на лету твоих прощальных слов? Прощай, Игорь Веденский, молчаливый наш друг, привет, привет! Восемьдесят восемь!

Но почему нет женщин на причале? Почему не пришли жены моряков? Почему не машут нам платками, не вытирают набежавших слез, почему пустынно на пирсе Холодильника?

— Время позднее, спят наши жены. Второй час, вон уж сколько. Теперь наши жены — ружья заряжены. Простились уже, простились все, кому есть с кем прощаться. Теперь дело. Теперь не до слез. А «восемьдесят восемь» — это «я вас понял», по международному коду... Ха-ха-ха!.. А вы поверили, думали, про любовь? Нет! Теперь дело. Давай, давай, поднимайтесь, ребята, на борт, вот так, вот и все хорошо. Эй, кто там? — сейчас отходим, эй, Марковский! Плылов! Мартынов!

— Есть!

Две недели провел я на этой палубе зимой, и трюм тогда был забит просоленными тюленьими шкурами, корма была заколочена досками, и на корме горой — тюлени красные туши для зверофермы. Планшир обледенел, на снастях сосульки, посвист ветра, поэмка в торосах, ранние сумерки и поздние рассветы, мартовские зеленоватые закаты, сходящиеся и расходящиеся разводья возле бортов, треск льда по ночам, скрип и треск переборок...

Теперь палуба была чисто умыта, но все равно таила в себе запах ворвани, слабый и нежный от прошедшего с зимы времени, когда она была залита, заляпана тюленьим жиром и кровью, и трюм сейчас был пуст и гулок, как колодец, с наваленной по углам солью, но тоже пахло звериной, дико — пахло промыслами, отдалением, зимними льдами, кровью и кислым пороховым дымком.

Такая крошечная эта шхуна, если поглядеть со стороны — с белыми бортами, с коричневой рубкой, с двумя мачтами, с бочкой наверху. Но ее палуба, пространство ее от кормы до носа, двадцать четыре человека ее команды, машина, рубка, ходовой мостик, зачехленные катера по бортам, каюты и кубрики — вот наш мир на целый месяц, центр мироздания для нас.

Двигатель уже работает, мягко гудит в глубине, уже Илья Николаевич пошел туда, вниз, поглядеть, как там вахта, а капитан полез в рубку. Поднялся и я в рубку, поздоровался с вахтенными, высунулся

с одной, потом с другой стороны — все в рубке было как прежде, все на месте: слева от штурвала компас, позади эхолот, кренометр, выключатели, справа, в ящике, бинокли, потом переговорная труба в машину, телефон...

На шхуне завелся щенок, успел нажраться щелоку, вляпался в него всеми лапами, и теперь лежит, болеет, и все думают, страдают: выживет ли?

Внизу под кают-компанией, в кладовке боцмана, я знаю, висят винтовки, стоят ящики с патронами, под полубаком навалены капроновые сети с поплавками из пенопласта, и продовольствие есть, и горючего полны баки, все готово.

— А погода хороша! — веселится возвратившийся из машины Илья Николаевич. — Славно пойдем! Нам бы только до Колгуева проскочить, чтоб не трянуло, а там — там уж льды пойдут, там, едри ее мать, вода спокойная...

Ну, да, конечно, Колгуев, льды, Новая Земля — радуемся мы. А те, кто пришел проводить нас, стоят маленькой группкой внизу, осиротело глядят на нас с пирса, и мы на них поглядываем сверху, но уже отрешенно, рассеянно, поматываем иногда ручкой, улыбаемся, как бы говоря: «Привет! Привет! У нас тут льды, Новая Земля, белухи сопят и ныряют. Привет!»

И пока мы устраивались в каютах капитана и стармеха, решая, кому где жить, пока лазили то в машину, наполненную жаром, гулом дизеля, маслянистым светом ламп, маслянистыми бликами на металле, пока я здоровался, узнавал кого-то и меня узнавали, пока мы щупали тяжелые винтовки и рассматривали желтые ящики с патронами, пока заглядывали в рубку к штурману и радисту, и в камбуз на корме, и в полубак, где свалены были и крепко, разнообразно пахли сети, поплавки, буи, багры, доски, полущубки, телогрейки, рукавицы, краска и где шипел пар в душевой, пока поглядывали на алое ночное небо, на полированную ширь Двины, на выпуклую огромность рейда с застывшими кораблями, с движущимися катерами и мотодорами, оставлявшими за собой высокий треск моторов и черный на золотом след длинной волны, — «Моряна» наша тронулась потихоньку, отделилась от пирса и пошла, родная, забирая влево от берега, выходя на стрежень, как фарватер.

Как сначала тихо, почти нежно двигалась она, как потом развивала ход до полного и как плавно поворачивала, следуя фарватеру! Правый берег удалился от нас, стали видны все дома спящего Архангельска, его набережная, яхт-клуб, Кузнечиха, Соломбала...

Капитан, нахохлившись, в дождевике почему-то, хоть небеса были чисты, торчал наверху, на ходовом мостике, похаживал и поглядывал

вперед то с одного, то с другого борта и время от времени покрикивал в рубку: «Лево руля! Еще левей! Одерживай!»

И затрубили нам пароходы, там и сям, как скалы, возвышавшиеся на рейде, загудели низко, печально, каждый раз тоекратно прощаясь с нами. И мы им отвечали слабой своей сиреной — будто свирель отвечала рогу. Много там стояло теплоходов, лесовозов, танкеров по всем причалам — наших, финских, норвежских, греческих, немецких, стрекотали бревнотаски, поворачивали свои клювы портовые краны, сипел пар, кололи глаз острые бортовые огни, и глазели на нас из громадных домов-рубок вахтенные, и все знали, что шхуна наша уходит во льды...

Ах, как просыпался по ночам я в этом Архангельске, услышав сквозь сон долгий гудок, похожий на стон, как подходил я к окну, стараясь что-то разглядеть в узких разрывах крыш, хотя бы блеск воды, потом переводил взгляд выше, на алеющее небо, и, ничего уже не видя, с погасшей сигаретой, видел все-таки «воды многие», и полярные страны, и Гренландию, и Землю Франца-Иосифа в осиянных льдах...

Я все не спал, когда взошло солнце, малиново стало светить в иллюминатор. Я лег на короткий диванчик, поджал ноги. Двигатель гудел, винт взбивал за кормой воду. Спал я, как мне показалось, совсем немного и проснулся мгновенно, сразу открыл глаза. Все так же светило в иллюминатор солнце, только свет его был желтее, ярче, все так же взбивал за кормой воду винт. Не качало. Мне подумалось, что мы еще идем устьем Двины. Но заглянул в каюту стармех Илья Николаевич, сказал весело:

— Проснулся, Юра? А мы уж мимо Зимнегорского маяка идем. Скоро Нижняя Золотица будет. Помнишь, как ты там зимой на зверобойке был? А товарищ твой уж давно встал, все пишет, едри его мать, чего-то...

Так-то вот и началась наша морская жизнь.

1967

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Был один из тех летних теплых дней...

Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвостинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасно обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, заворачивает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам — ходит кто-то по дому! А везде — тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и, если

летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки:

— Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснущке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда, прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом когда-то меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь по-настоящему это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре — будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибора, слушали его гул, слушали влаж-

ный шелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливо черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями, с полыхающими окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиновой, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль — что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что если его не потревожить — он раздумает, отставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне — или, наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то скорее всего к нему и пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. М о й патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок, или по всегдашней неумелости своей по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И — зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...

Ну, а тогда все мы были живы и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда, отчасти уже знакомом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на дру-

гое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порывкивал и перекашивался гром, то накрапывал дождь, и бузинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки лаково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекою льется нам в глаза ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии, желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели...

Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твоё желание, ты взял её и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, ещё мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня, но какое бы раннее детство мне ни вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснушка, теплый запах разогретых на солнце лугов.

— Але-ши-ны но-жки... — нараспев, машинально сказал я.

— Бегут по до'ожке... — тотчас послушно откликнулся ты, и по дрогнувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.

Да, и я так же бежал когда-то, во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок...

Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького березового леса, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли бу-

ро-красные теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, шурилась и все спрашивала: «Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он, покажи хоть, с какого края он?» — «Вижу!» — отвечал я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» — и я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал...

Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмет на руки, поцелует и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака — ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нем подернулась как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе, за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...

Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и теперь она дико серела своим бетонным куполом и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхищением рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснущка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы, кровавыми каплями вспыхивала там и сям земляника, невесомыми табунками толкалась мошकारа, невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал...

— Смотри, Алеша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя...

Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустился в путь.

Навстречу нам по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими, длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать ли ему все вперед, не собираемся ли мы поворотить назад или в сторону? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял и опометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел и звал нас поскорее прийти.

— Слышишь? — сказал я тебе. — Наш Чиф что-то нашел и зовет нас!

Чтобы тебе не исколоться об елки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и слышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся вскрипывания во время вдохов.

Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вытоптан. Завидев нас, Чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на корточки.

— Это ежик, — сказал я, — повтори: ежик.

— Ежик.... — сказал ты и тронул его палкой.

Ежик фукнул и слегка подскочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох.

— Ты не бойся, — сказал я, — только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты... Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне.

Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка — теплое и живое, хоть лицо твое было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, — но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спеленат, накормлен и уложен спать, а мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный: о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне и лицо твое трепещет...

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка — лицо твое приобрело выражение возвышенного, вещего знания, какие-то облачка пробегали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования, — плакал ли ты, или смеялся, или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, — не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. «Когда младенцы так улыбаются, — сказала потом моя мать, — это, значит, их ангелы забавляют».

Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от инея березы... Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку, — несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, — мы вывозили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Черта палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и все тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты еще не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои ва-ва-ва, и ля-ля-ля, и ю-ю-ю, и уип-уип-уип означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопылив руки, спишь, и румянец вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты все спал — спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстегивали и развязывали и укладывали в кровать, — ты не просыпался...

Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

— Кака-ая бо'ша-ая, к'аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на нее издали, повторяя изумленным тоном, будто видел ее впервые: «Кака-ая ба-ашня!», потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой ее колонны. Затем ты перевел взгляд вниз, на маленькое лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, омуток же казался неподвижен, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придется до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошел к очень удобному для тебя корню у самой воды, лег на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчел, мух, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лежа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зеленый пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

— П'авают 'ыбки... — сообщил ты мне через минуту.

— А-а, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не ушли еще в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки...

— Майки... — радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окруженный волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока все успокоится, и взял еще камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил...

Так ты бросал и бросал, любясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен — не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолет, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошел ко мне.

— Комаик кусил... — сказал ты, морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

— Ну? Что будем теперь делать? Еще побросаешь или пойдем дальше?

— Пойдем дайше, — решил ты.

Я взял тебя на руки, перешел через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень таволги. Белые шапки ее, казалось, плавились на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчел.

Тропинка начала подниматься — сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окаймленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались, уже по лугу, все выше, пока не вззошли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными черточками антенн вдаль, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было еще в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землей вянувший запах. Мы с тобой сели в еще не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушел в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял его обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель — земля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменялась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали и ты провожал взглядом их восхитительный полет. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему и глазам было видно, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишачих паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, совсем по другому поводу... Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу и камушки на дне ее, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подернутого голубовато-серебристой изморозью, и, как всегда, красивая издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, — этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда.

Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя, и меня, и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это все канет, по какому странному закону отсечется, покрется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрел характер,

привычки, научился говорить, а еще лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое...

Но кого ни спросишь — все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или все-таки не все забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как, увидев что-то вовсе даже неяркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряженной мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновение в прошлом — и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошел к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты... Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким — не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что царствие божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошел к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокла. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. То-

гда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны — всего лишь сумбурное отражение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел, кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, глядя твои волосы.

— Сынок, проснись, милый, — говорил я, слегка тормоша тебя за руку. — Вставай, вставай, Алеша! Алеша! Вставай...

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрим голосом приговаривая: «Ну, что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!» — стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздуха и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

— Сейчас обедать будем... Смотри, какая птица полетела... А где наш беленький пушистый Васька? Алеша! Ну, Алешка, милый, не бойся ничего, все прошло... Кто это там идет, не мама ли? — я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой еще страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобою, висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом:

— Куинчи-ик...

Ты не потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, — нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ложкой по столу, не смеялся, не говорил «скорей!» — ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, — теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отда-

латься, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несет меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошел своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голосом звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...

А было тебе в то лето полтора года.

1977

СОДЕРЖАНИЕ

Трали-вали	3
Плачу и рыдаю...	12
О мужестве писателя	21
Отход	26
Во сне ты горько плакал	33

Юрий Павлович КАЗАКОВ

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Рассказы

Составитель и редактор Д. К. И в а н о в

Технический редактор Т. Е. А в д е с е в а

Сдано в набор 24.07.87. Подписано к печати 21.09.87. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Учетно-изд. л. 3,09. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80000 экз. Изд. № 2394. Зак. № 1051.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

РАСЧЕТНО-ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК

● Расчетно-денежный чек — новый вид услуги, предлагаемой населению сберегательными кассами. Расчетно-денежный чек вводится с 1 января 1988 года вместо ранее действовавших расчетного чека и аккредитива. Выдается на сумму до 10 000 руб. Применяется для расчетов за товары и услуги, удобен при переездах в другую местность. Наличие контрольного талона гарантирует сохранность денежной суммы в случае утери расчетно-денежного чека.

● Расчетно-денежный чек принимается к оплате в любой сберегательной кассе на территории Советского Союза.

**Российское республиканское
Главное управление
Гострудсберкасс СССР**